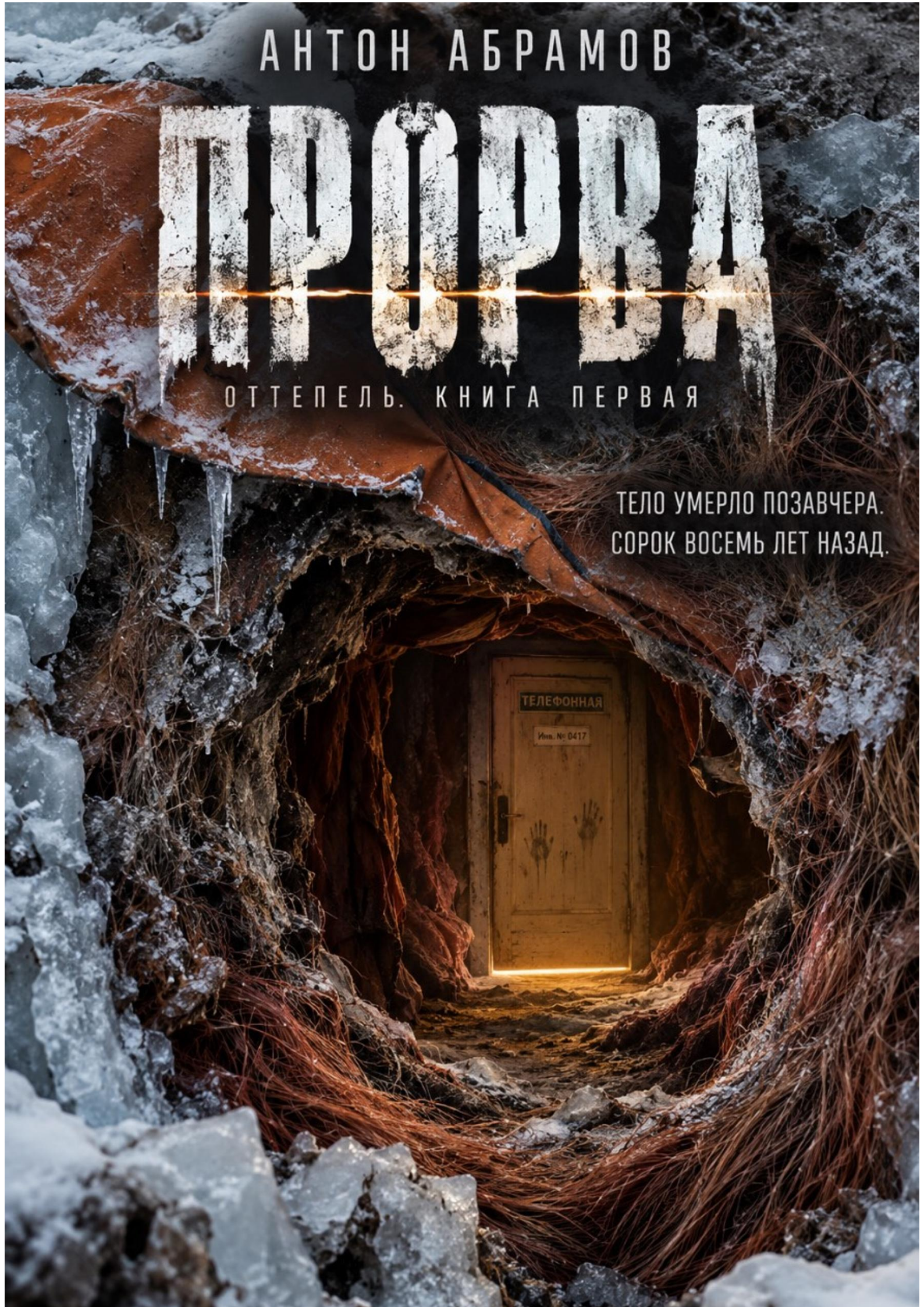


АНТОН АБРАМОВ

ПРОСРВА

ОТТЕПЕЛЬ. КНИГА ПЕРВАЯ

ТЕЛО УМЕРЛО ПОЗАВЧЕРА.
СОРОК ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД.



АНТОН АБРАМОВ

Прорва

«Автор»

2026

Абрамов А.

Прорва / А. Абрамов — «Автор», 2026

Тело умерло позавчера. Сорок восемь лет назад. Палеонтологи бурят в якутской Прорве тушу неизвестного зверя, и бур уходит в пустоту. Камера в скважине показывает дощатый пол и мертвого врача у двери с табличкой «ТЕЛЕФОННАЯ». Кровь на пальцах еще не высохла...Судмедэксперт Сардаана Винокурова летит установить время смерти. Следователь обещает, что работы на день, и она обещает сыну прийти в субботу на соревнования. Спустившись к телу через лаз, она видит, что врач умер около суток назад, а пропуск у него выписан до конца 1978 года. По привычке она говорит мертвому: «Ну, рассказывай», и из-за двери спрашивают: «Кто здесь?» Человек, держащий дверь изнутри, уверен, что сейчас сентябрь 1978-го и к семилетию дочери успеет домой. Убийцу он не видел, а кровавые следы обрываются у стены...тот ушел сквозь нее. Что за стеной, знает лишь профессор семидесяти девяти лет, прилетевший на опознание. Он объясняет, почему солнечный свет нельзя пускать вниз, и по утрам подолгу стоит у брезента над лазом.

© Абрамов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1	8
Глава 2	13
Глава 3	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Прорва

Пролог

Девочка дышит так, будто у неё в груди сухая трава и по этой траве кто-то ходит.

Всю ночь отец держит её на груди, под шкурами, кожа к коже, и слушает этот шорох. Иногда шорох стихает, и тогда отец сам перестаёт дышать и ждёт. Шорох начинается снова. Отец выдыхает ей в макушку, в волосы, которые ещё пахнут дымом стоянки. Там остался сын брата, её ровесник. Всю зиму они спали под одной шкурой, толкались ногами и смеялись в темноте, пока взрослые на них не шикали. Отец опять смотрит на реку.

Они сидят на высоком берегу с тех пор, как стемнело. Ночью у воды кашляли львы, и брат до света не выпускал копья. Теперь копьё лежит у него на коленях, и брат давно ничего не говорит. Внизу река ломает свой лёд. По чёрной воде идут белые плиты, налезают друг на друга, встают на ребро, и звук от них такой, будто кто-то большой медленно жуёт кости.

Этот берег река подмывает каждую весну. Старая говорила, что именно здесь, где река поворачивает под обрывом, по весне выходит тот, кто ходит внизу. Ходит он под степью, как рыба ходит подо льдом, и там, где он прошёл, остаётся дорога. Внутри у него тепло, как в утробе. Кого он возьмёт в себя, того унесёт вниз, к тем, кто лечит. Выходит он до света и до света уходит, потому что свет его убивает.

Отец не знает никого, кто вернулся бы оттуда здоровым. Но старая говорила об этом, растирая девочке грудь жиром, и говорила просто, как говорят, где брод и где рыба. Когда девочка перестала есть, отец ей поверил.

Небо над степью светлеет с края. Первой становится видна трава. Прошлогодняя, бледная, она стоит по пояс, как простояла всю зиму, твёрдая от инея, и в ней шуршит ветер, которого не чувствует лицо. У корней она уже зелёная. Отец знает это, не глядя: они шли через эту траву два дня, и зелень липла к ногам.

Потом становятся видны звери. Далеко за рекой, на холме, стоят бурые, большие, и над каждым поднимается пар. Головы у них опущены, и бивни белеют в сумерках, как рёбра на старой стоянке. Ближе к воде пасутся лошади, мелкие, светлые, с тёмной полосой по хребту. Где-то кричат журавли. Над самой степью длинной нитью тянутся гуси, и лёд на реке грохочет им навстречу.

Весной степь пахнет полынью и мокрой землёй, и жаворонки начинают петь раньше, чем покажется солнце. Эту пору отец любит больше всех.

— Смотри, — говорит он в шкуры. — Гуси.

Девочка не открывает глаз. Шорох в груди не прекращается.

Первым это видит брат. Он встаёт, и копьё скатывается с его колен в траву.

Под обрывом поднимается лёд. Поднимается весь сразу, широко, от берега до середины реки, как поднимается шкура, когда под ней ворочается спящий. Лёд лопается и плитами съезжает в воду, а из-под него встаёт спина, мокрая, в длинной рыжей шерсти. С неё ручьями бежит вода. Спина поднимается, пока не становится выше обрыва, и край берега у них под ногами оседает и ползёт вниз вместе с ней. Отец отступает, прижимая к себе девочку. Земля сыплется долго. На холме за рекой бурые поднимают головы и смотрят сюда.

Голова лежит в воде у самого берега, прямо под ними. Отец видит её, когда зверь выдыхает: из воды встаёт пар, густой и тёплый, и лёд вокруг тает и темнеет. Пасть открыта. Она больше входа в любое жилище, где бывал отец. По сторонам от неё уходят в воду бивни, каждый толще, чем отец в обхвате, а над ними лежит закрытое веко, длинное, как полог. Тепло из пасти поднимается до самого обрыва, и отец чувствует его лицом.

Зверь больше холма, на котором стоят бурые, и он живой. Старая не обманула.

За рекой, над тем холмом, показывается край солнца.

Свет бежит к ним по степи, зажигая иней, и, перескочив реку по льдинам, ложится зверю на голову, прямо в открытую пасть. Зверь вздрагивает весь, от головы до спины, и с обрыва опять сыплется земля. Пар из пасти выходит ещё раз, коротко, и больше не выходит.

— Всё, — говорит брат. — Не успел уйти.

Отец смотрит вниз. Веко над бивнями не поднимается. Но тепло из пасти идёт, как шло, оно не ушло вместе с паром, отец чувствует его щекой. Старая говорила: где он прошёл, там остаётся дорога. Про мёртвого она ничего не говорила.

Девочка у него на груди дышит. Шорох стал тише, и отец не знает, хорошо это или плохо.

— Внутри тепло, — говорит он.

— Он мёртвый, — говорит брат и хватает его за шкуры на плече.

Отец высвобождается, не оборачиваясь.

— Жди здесь.

Он спускается по осевшему берегу боком, одной рукой цепляясь за мёрзлые комья, другой прижимая девочку. Вода в реке по колено, потом по бедро, такая холодная, что сначала кажется горячей. Лыдина толкает его в бок, он отводит её локтем. Из воды он оглядывается. Брат стоит на краю обрыва, над головой зверя, и смотрит на него сверху.

Нижний край пасти лежит у самой воды, мягкий и скользкий. Отец забирается через него на коленях, не выпуская девочку.

Внутри тепло, как в утробе. Пахнет летом, травой, которой в степи ещё нет. Пол поддаётся под ногой. Солнце у отца за спиной, свет входит в пасть вместе с ним и ложится на мокрое, розовое, а тень отца уходит вперёд, длинная, в глубину. Он идёт за своей тенью, пригнувшись.

— Сейчас, — говорит он девочке. — Сейчас согреешься.

Там, где пасть сужается, в стене дыра. Круглая, шириной в его плечи, и край у неё гладкий и влажный, как губа. Из дыры тянет ровный тёплый ветер. Отец подставляет ему лицо и понимает: вот она, дорога.

Он лезет в дыру на локтях, прижав девочку к груди, и тёплый край обхватывает ему плечи и отпускает.

За дырой маленькое место, круглое, как внутри жилища, только стены мягкие и тёплые. Встать здесь нельзя, можно сидеть. Отец кладёт девочку на расстеленную шкуру и накрывает другой.

Свет идёт сквозь дыру у него из-за спины, задевает её край и падает девочке на лицо. Отец загораживает ей лицо ладонью. Потом вспоминает, что говорила старая: свет убивает того, кто ходит внизу. Они сидят у него внутри, и этот свет отцу не нравится.

Он стаскивает с себя верхнюю шкуру, здесь она всё равно не нужна, и вешает её на дыру, вдавив край в мягкую складку стены. Шкура держится. До низа дыры она не достаёт, и из-под неё на пол ложится узкая полоса света. Девочки полоса не касается. Отцу этого довольно.

Он садится рядом с дочерью, с краю, у самой дыры. Её щека ложится ему в ладонь сама, как ложилась всегда. В щели под шкурой видно мокрое, розовое, а дальше, у самой воды, чьи-то ноги, облепленные илом. Брат всё-таки спустился. Отец рад, что он рядом.

Он поёт ей то, что пел всегда, когда она не могла уснуть. Эту песню он сложил сам, когда она была совсем маленькой, и слов в ней немного, потому что она засыпала раньше, чем он успевал придумать новые.

Спи, моя маленькая, спи.

Щёку клади мне в ладонь.

Шкуру тяни на себя.

Мне и с краю тепло.

Ему и правда тепло. Из-под шкуры тянет ровным тёплым ветром, и ветер гладит ему шею.

Полоса на полу становится тоньше. Отец наклоняется к щели. Край дыры толстеет, медленно, как толстеет лёд у берега в первые морозы, и дыра щурится на свет, как щурится человек, который вышел из темноты на солнце. От брата в щели остались одни ступни. Ветер в дыре начинает свистеть, тонко, как свистит полая кость, если в неё подуть.

Отец не боится. Он понимает, что это значит: зверь пошёл. Мёртвый или нет, он уносит их вниз по своей дороге. Свет уходит, потому что они опускаются, и брат остаётся наверху. Ветер свистит оттого, что их несут. Старая не обманула и в этом.

*Речка идёт подо льдом,
только не слышно её.
Не бойся, что стало темно,
я и так тебя вижу.*

Становится темно. Полоса на полу теперь тонкая, как жила, которой шьют, и в ней только блеск воды. Отец ещё различает лицо дочери и мокрые от пота волосы на лбу. Он видел бы её и без света.

*Свист поднимается выше.
Спи, моя маленькая, спи.
Я подоткну тебе шкуру.*

Он подтыкает шкуру ей под бок, и девочка выдыхает. Долго, до самого конца, как выдыхают, когда наконец засыпают. Шорох уходит из груди весь. Она тяжелеет у него в ладони, как тяжелеют уснувшие дети.

Уснула. Отец улыбается в темноте. Песню нельзя обрывать, пока сон не окреп: мать никогда не обрывала. Он поёт тише.

Ты закрывай глаза,

Глаза у неё приоткрыты, как бывает у детей во сне, и в щёлках влажно блестит. Отец проводит по векам пальцем, легко, как снимают с ресниц снежинку, и веки опускаются.

Снаружи кричит брат. Слов за свистом не разобрать. Свист стоит теперь на одной ноте, такой тонкой, какой отец не слышал ни от кости, ни от ветра.

а я при...

Глава 1

Якутск, ночь на 17 сентября 2026 года

— Кэпсээ, — сказала я утопленнику и включила диктофон.

Так у нас здороваются, и так встречала гостей моя бабушка: человек входил с мороза, садился поближе к печке, и первое, что он слышал, было «кэпсээ», рассказывай. Живой на это отвечает «туох да суох»: ничего, мол, нового, сам рассказывай. Мёртвые отвечают иначе, зато рассказывают всё, что с ними было, и ничего не приукрашивают. Русским я говорю по-русски: «ну, рассказывай». Санитар Валера работает со мной двенадцать лет и давно не удивляется. Однажды я забыла поздороваться, и он укорил: «Николаевна, ты чего его обижаешь».

Утопленника привезли в седьмом часу, и к десяти вечера в секционной нас осталось трое: я, Валера и он. За стеной гудел холодильный агрегат. Когда он отключается, секционная будто становится больше, но сегодня он не отключался. В раковине капала вода из крана, который Валера обещает починить с весны.

Мужчина лет пятидесяти пяти, якут, в рыбацком костюме. Правый сапог с него сняли ещё на берегу, а левый он потерял в воде вместе с носком. Правый носок был на месте, синий, с растянутой резинкой, а к белой левой ступне прилипла травинка. Я сняла её пинцетом и убрала в конверт: в первые минуты значение может оказаться у чего угодно. Его пустую лодку прибило к острову напротив города, а сам он нашёлся ниже по протоке, у затопленной баржи. Следователя интересовало одно: упал он сам или ему помогли.

Я начала с того, с чего начинаю всегда.

— Исследование проводит судебно-медицинский эксперт Винокурова, — начала я для диктофона. — Наружное исследование. Труп мужчины на вид пятидесяти — пятидесяти пяти лет, правильного телосложения, удовлетворительного питания. У отверстий рта и носа стойкая мелкопузырчатая пена белого цвета. Кожа ладоней и подошв бледная, набухшая, собрана в складки. На передней поверхности левой голени кровоподтёк овальной формы, синюшно-багровый, размерами...

Я приложила линейку.

Пена значила, что в воду он попал живым и дышал там, сколько мог. Но вслух я этого ещё не произнесла. Сначала описать, потом думать: так учили меня, и так я учу стажёров, которые рвутся сразу к выводам. Вывод, сделанный раньше описания, начинает подгонять под себя всё остальное, и мёртвый послушно рассказывает то, что ты хотела услышать.

На левом запястье у него были дешёвые кварцевые часы с треснувшим стеклом. Они стояли на девятнадцати сорока. Стажёры такие часы любят: им кажется, что вот оно, время смерти, записанное самим покойником. Но вода заходит под стекло не сразу, а бывает, что не заходит совсем, и тогда часы идут на мёртвом ещё сутки. Часы на утопленнике я считаю свидетелем, чьи показания ещё надо проверить. Я продиктовала: «Часы не идут, стрелки показывают девятнадцать часов сорок минут».

К одиннадцати он рассказал всё, что мог. В воду он упал живым. О борт он ударился ногой, голова цела, и других повреждений на нём не было: никто его не бил и не держал. Наверное, он встал в лодке, чтобы выбрать сеть, лодка качнулась, и сентябрьская вода сделала остальное быстрее, чем он доплыл бы до берега. «Наверное» я оставила себе, в заключение оно не пойдёт. Остальное дорасскажут гистология и пазуха основной кости, в которой я уже нашла воду.

Утопленники не самые трудные мои покойники. Но в тот день, когда умер отец, я тоже вскрывала утопленника. Из больницы позвонили, когда я была на середине. Я закончила. Бросать на середине я не умею, это знают все, кто со мной работал, и отец это знал. Он умер, пока

я зашивала. Я приехала через час, как приезжаю ко всем, и дежурный врач в коридоре назвал мне время смерти. Я записала его в блокнот. Рука записала сама.

Валера выгнал меня в половине двенадцатого.

— Иди, Николаевна. Он никуда не денется.

Ночью подморозило. На лобовом стекле моей праворульной «тойоты» лежал иней, и я соскребала его банковской картой, потому что скребок опять увёз Айсен. В середине сентября днём ещё бывает плюс десять, а ночью уже минус, и первый снег может выпасть в любую неделю. Город спал на сваях. Под фонарями желтели лиственницы, и трубы теплотрассы в серебристой обмотке тянулись вдоль улиц и перешагивали дороги буквой «П».

На светофоре я посмотрела телефон. Утром Айсен прислал мне фотографию расписания соревнований, а вечером переслал её ещё раз, ничего не написав. В двадцать два четырнадцать пришло: «ужин в микроволновке, 2 мин». Инструкции он пишет мне так же, как я пишу стажёрам.

Дома было тихо. В прихожей стояли кроссовки Айсена сорок пятого размера, один на другом, и сумка с формой, из которой торчало полотенце. На холодильнике под магнитом с оленем висел листок в клетку. Айсен пишет печатными буквами, когда хочет, чтобы прочитали наверняка:

СУББОТА 10:00. ТЫ ОБЕЩАЛА.

Ужин я разогрела ровно на две минуты, как было велено, и съела стоя, глядя на листок. Первенство республики по мас-рестлингу среди юниоров. В прошлом году я пропустила его первые городские соревнования, потому что в Нюрбе нашли два тела в сгоревшем доме. В этом году я обещала. Мы оба помнили прошлый год, поэтому расписание пришло дважды, а листок был написан печатными буквами.

Я заглянула к нему. Он спал поперёк кровати, как спит с трёх лет, ноги торчали с края, одна рука свесилась до пола. Шестнадцать лет, метр восемьдесят шесть, а спит так, будто кровать ему выдали на время. Я поймала себя на том, что смотрю на его руку так же, как весь вечер смотрела на другую: мозоли у основания пальцев от палки, свежая ссадина на костяшке. Я перестала и поправила ему одеяло.

Никифоров позвонил в час сорок, когда я уже легла и ещё не уснула.

— Сардаана Николаевна, не спишь?

— Уже нет.

С Никифоровым мы работаем четырнадцать лет. Ночью он звонит, только когда не может решить сам, и за это время таких звонков было, может быть, пять.

— Я тебе видео скину. Посмотри и скажи, что это старьё. Тогда я лягу спать, а утром туда поедет районный эксперт.

— Куда туда?

— Сначала посмотри. Не хочу тебе ничего подсказывать.

Он знает, как я работаю.

Никифоров отключился, и через минуту пришло видео: две минуты тридцать семь секунд. Я ушла на кухню, закрыла дверь, села за стол и убавила звук почти до нуля, чтобы не разбудить Айсена.

Снимали телефоном с экрана. В кадре был ноутбук на ящике, край чьей-то перчатки и кусок брезента, который хлопал на ветру. Где-то рядом тарахтел генератор. На экране ноутбука шла картинка с камеры, а в правом нижнем углу бежали цифры: 16.09.2026, 15:41:52.

Камера опускалась в скважину. Круг белого света полз по тёмным волокнистым стенкам в инее, похожим на прессованный войлок. Потом стенки кончились. Свет провалился в пустоту, повисел в ней и нашёл пол.

Пол был дощатый.

Камера поворачивалась медленно, как поворачивается человек, который не знает, что увидит. Луч прошёл по доскам, задел каблук мужского ботинка и полу белого халата. Потом руку.

Рука лежала ладонью вниз у самой двери, пальцы чуть согнуты. На запястье были часы на металлическом браслете. Камера прошла над ними близко, и я остановила запись. Циферблат читался: двадцать один двадцать три. В окошке даты стояло «14».

На руку я смотрела дольше, чем на часы. Кожа на тыльной стороне кисти была бледная, ровная, без той темноты и сухости, которую даёт долгий холод. На пальцах была кровь, и она блестела в свете камеры. Высохшая кровь так не блестит, и замёрзшая тоже. Заключений по видео я не даю никогда, но видела я руку человека, который умер недавно. Может быть, сегодня.

Я пустила запись дальше. Камера поднялась по двери. Дверь была деревянная, выкрашенная казённой бежевой краской, и на ней темнели отпечатки двух ладоней с потёками вниз, того же блеска. Ниже была прибита маленькая металлическая табличка с выбитыми цифрами: «Инв. № 0417».

Под дверью вспыхнул свет.

Узкая жёлтая полоска вдоль порога, тёплая и неровная. Она дрогнула, как дрожит огонь, и через секунду пропала, сразу и целиком. Камера дёрнулась, и кто-то рядом с телефоном вдохнул сквозь зубы. Молодой женский голос спросил по-якутски: «Бу туох?» — «Что это?» Мужской ответил по-русски: «Тихо».

Тогда стала слышна песня.

Наверное, она шла и раньше, но теперь люди у скважины замолчали, и я её услышала. Звук поднимался из скважины глухо, как из колодца. Пел старик. Голос низкий, чуть дребезжащий, а под голосом шипело, как шипит старая плёнка. Слов я не знала. Это был не якутский и не эвенский, и я не взялась бы сказать, язык ли это вообще или звуки, которые поют по памяти, не понимая. Но колыбельную узнаёшь и без слов. Строка поднимается и опускается, как рука, которая качает люльку, и к концу каждой строки голос замедляется, словно проверяет, уснул ли тот, кому поют.

Один куплет кончился, начался другой, и посреди него голос оборвался на коротком слогe, похожем на русское «при», будто певцу закрыли рот ладонью.

Секунд пять было одно шипение.

Потом тот же голос произнёс по-русски, медленно, как говорят старики, у которых русский — третий язык:

— Дальше не поют.

Рядом с телефоном кто-то шёпотом спросил:

— Почему?

И старик ответил:

— Дальше никто не знает.

Снова шипение. Щелчок, будто что-то переключили. И старик запел сначала, тем же голосом ту же колыбельную.

На этом месте женский голос у скважины закричал: «Вынимай! Вынимай её!» Картинка на ноутбуке полетела вверх по волокнистым стенкам, в белое. Кто-то матерился. Телефон упал экраном в брезент, и запись кончилась. Последние цифры в углу, которые я успела увидеть, были 15:44:29.

Я посмотрела видео ещё раз со звуком и два раза без.

Сначала описать. Я взяла первое, что лежало под рукой, квитанцию за свет, и писала на обороте. Дощатый пол. Мужчина в белом халате лежит ничком у двери. На тыльной стороне кисти нет признаков долгого холода, кровь на пальцах и на двери не высохла и не замёрзла.

На руке механические часы, и на втором просмотре я разглядела то, что сначала приняла за дрожание камеры: секундная стрелка двигалась.

Я вернулась к месту, где камера дольше всего висела над запястьем, и смотрела только на стрелку. Она шла, плавно, как ходят старые механические часы, без кварцевых рывков. После завода такие часы идут сутки, двое, если завод хороший, а на холоде у них густеет смазка, и механизм встаёт. Эти шли. Значит, их завели вчера или позавчера, и там, где лежит этот человек, тепло.

Скважина шла сквозь мёрзлое, стенки были в инее, а внизу, выходит, держалось тепло. Погреб или старая выработка под мёрзлым грунтом: у нас такое бывает, и дверь с инвентарной табличкой туда подходила.

Под дверью горел живой огонь, спичка или свеча, жёлтый и дрожащий, совсем не похожий на белый свет камеры. Он не догорел. Догорающий огонь слабеет и мигает, а этот пропал разом. Его погасили.

А пел магнитофон: живой голос так не шипит. Старик никому не отвечал. На плёнке между двумя его фразами была пауза, и в эту паузу у скважины кто-то успел спросить «почему». Я понимала, как это прозвучало для тех, кто стоял над дырой, и почему они выдержали камеру. Но за дверью сидел кто-то другой. Он слушал старую плёнку в темноте, а когда с этой стороны пришёл свет камеры, погасил спичку и затих.

Я перезвонила Никифорову в два двадцать.

— Ну? — Голос у Никифорова был не сонный.

— Это не старё.

Он помолчал.

— Я так и думал.

— Где это?

— В Прорве.

Про Прорву в Якутии знают все. Это провал в Верхоянье, огромная яма в мерзлоте, которая каждое лето растёт: берег оттаивает и сползает вниз вместе с лесом. В газетах её называют воротами в преисподнюю, местные зовут Прорвой, а палеонтологи каждое лето достают из её стен кости, бивни, а иногда и целых зверей. Сама я там ни разу не была.

— Что там может быть с дверью? — спросила я. — Зимовье, которое съехало в яму вместе с берегом?

— Не зимовье. Палеонтологи бурили мамонта в стене провала, — объяснил Никифоров. — Днём бур провалился в пустоту внутри туши, в пятнадцать тридцать шесть, у девочки всё записано по минутам. Камеру опустили минут через пять.

Я посмотрела на то, что написала на квитанции: «Смерть недавняя. Место тёплое». Внутри зверя, пролежавшего в мерзлоте десятки тысяч лет, не могло быть ни того ни другого, а я видела это своими глазами на экране телефона.

— Кто снимал? — спросила я.

— Та же девочка, Кычкина. Потом скважину заткнули и вызвали районных. Сидят в палатке, к дыре никто не подходит. Районные приехали, посмотрели на пробку и тоже не подходят.

— Там кто-то живой. За дверью.

— Свет видела?

— Видела, как его погасили.

Никифоров опять помолчал. Было слышно, как он чиркнул зажигалкой.

— Борт в семь с Магана, — решил он. — Северная авиакомпания даёт. Я лечу. Ты летишь?

— В субботу в десять мне надо быть в Якутске.

— Будешь. Там работы на день. Достанем, привезём, вскрыешь у себя.

Я пообещала быть на Магане в шесть.

Спать я не легла. Собрала сумку, которая у меня всегда собрана наполовину, и сверху положила термометр и диктофон. Сварила кофе и выпила половину. В половине шестого я сняла с холодильника листок Айсена, подумала и повесила обратно. Под его «ТЫ ОБЕЩАЛА» я написала печатными буквами, как он, чтобы прочитал наверняка:

ПРИДУ.

Уже в прихожей, в куртке, я ещё раз открыла видео, выключила звук и остановила кадр над запястьем. Двадцать один двадцать три, четырнадцатое. Я пустила запись, и стрелка пошла.

Утопленник лежал сейчас в холодильнике бюро, и его часы стояли на девятнадцати сорока, как им и положено. Часы на руке у мёртвого из Прорвы шли.

Глава 2

Прорва, 17 сентября

Вертолёт стоял на Магане с открытой дверью, и на хвостовой балке у него была нарисована белая полярная сова. Эту сову знает весь север: она возит вахтовиков на прииски и начальство туда, куда начальство не хочет ехать по зимнику. Никифоров курил у колеса, втянув голову в плечи.

— Поспала? — спросил он.

— Нет.

— Я тоже.

Взлетели в семь, вместе с солнцем. Под нами ушла Лена, широкая, в протоках и островах, потом пошла тайга, жёлтая от лиственниц, с озёрами, уже схваченными по краям льдом. Никифоров уснул сидя, как спят люди, которые много летают: сразу, с открытым ртом и не выпуская из рук папку. Я смотрела видео.

При дневном свете я разглядела то, чего не заметила ночью. Отпечатки ладоней на двери стояли высоко, на уровне лица, пальцами вверх, и потёки шли от них вниз, длинные и ровные. Такие следы остаются, когда человек стоит вплотную к двери и давит на неё всем весом, а потом сползает. Он ломился внутрь, и ему не открыли. Остальное с экрана не прочитать, и я выключила телефон.

Сели на дозаправку в посёлке, названия которого я не расслышала. К вертолёту вышли две собаки, а из людей не вышел никто. Там была связь, и пришло сообщение от Айсена, отправленное в семь сорок: «ок». Он прочитал записку. У шестнадцатилетних «ок» может значить что угодно, но я решила, что оно значит «ок».

После дозаправки начались горы. Верхоянский хребт лежал под нами в снегу, уже настоящем, а за хребтом тайга стала ниже и реже, лиственницы стояли поодиночке, как люди на остановке, которые не разговаривают друг с другом. Никифоров проснулся, закурить ему не дали, и он стал рассказывать.

— Пропавших в районе нет. Я проверил за двадцать лет. По бумагам в Прорве никогда ничего не стояло, ни складов, ни зимовий. Ничего с дверями.

— А номер с таблички?

— Отправил в архив. Раньше понедельника не жди.

Прорву я увидела раньше, чем её показал пилот. Тайга шла ровная, жёлтая и обрывалась краем, будто её отрезали. Сверху Прорва была похожа на рану с отвёрнутыми краями, и я разозлилась на себя за это сравнение, потому что у меня всё похоже на рану. Почти километр в поперечнике. С одной стороны серая чаша полого спускалась ко дну, с другой стояла крутая стена высотой с двадцатипятиэтажный дом. По её краю лес держался вкривь: лиственницы клонились в разные стороны, некоторые уже висели корнями в воздухе. Такой лес здесь называют пьяным. Дно было в ручьях и буграх, конических, как муравейники, только в человеческий рост, а за провалом петляла река, серая, с белыми берегами.

Даже в полдень солнце здесь стояло низко. Там, где оно попадало на стену, лёд блестел, а теневая сторона оставалась синей. Вертолёт накренился, и на освещённой стене, поперёк серых слоёв, я увидела тёмную дугу, темнее земли и льда вокруг и слишком большую. Никифоров наклонился и прокричал мне в самое ухо:

— Вот оно.

На краю стояли палатки и буровая на санях. Внизу, под самой стеной, горело оранжевое пятно брезента.

Сели на поляне в сотне метров от края. Между палатками и обрывом оставили широкую полосу, по которой ходили только вдоль натянутой ленты, а у самого края стояли вешки с

красными флажками. На одной висела кружка: кто-то приспособил вешку под крючок. Лопасты ещё крутились, когда к нам, пригибаясь, подбежал человек в оранжевой куртке, широкий, коротко стриженный, с рацией на груди. Он пожал руку Никифорову, потом мне.

— Дергачёв, Роман, — представился он. — Горноспасатель. Отвечаю здесь за то, чтобы все вернулись.

За ним стояла девушка в пуховике не по росту, с красными от бессонницы глазами. Она поздоровалась, и я узнала голос с видео, тот, что спросил «бу туох?». Туйаара Кычкина, палеонтолог. Скважина и камера были её. Руки она держала в карманах, и по тому, как натянулись карманы, было видно, что там кулаки.

У костра сидел человек лет шестидесяти в выцветшей энцефалитке и чистил рыбу. Это был Прокопий из посёлка: он возит экспедицию на лодке и смотрит за генератором. На вертолёт он даже не поднял глаз. Двое районных полицейских курили у палатки и делали вид, что им всё это неинтересно.

— Ночью что-нибудь было слышно? — спросила я.

— Пело, — ответила Туйаара. — Через пробку было слышно. Каждые несколько минут одно и то же: до того места, потом «дальше не поют», потом опять сначала. Никто не спал.

Шов спального мешка, отпечатавшийся у неё на щеке, говорил, что под утро она всё-таки уснула, одетая и ненадолго. Спорить я не стала.

— А с утра?

— Под утро щёлкнуло, и стало тихо. — Она помолчала. — Как будто выключили.

— Плёнка могла кончиться.

— Могла, — согласилась она и впервые чуть улыбнулась, одним углом рта. — Наверное.

— За дверью кто-то живой. Свет там погасили вчера, а плёнку сегодня.

Роман кивнул так, будто я назвала ему цифру на приборе.

— Значит, вынем. Мы никого не оставляем.

Прокопий принёс нам чай в железных кружках, из термоса, слишком горячий. Он посмотрел на Прорву поверх своей кружки.

— Там чего только не находили, — заметил он.

— Человека в мамонте не находили, — возразила Туйаара.

— Мамонт ещё не доказан. — Прокопий отпил. — Здесь всё на что-нибудь похоже, пока не подойдёшь.

Я спросила, что он сам слышал ночью.

— Плёнка пела, это я понимаю, — ответил он без всякой насмешки, устало: эту историю ему, видно, рассказывали уже не раз. — А голосов здесь нет. Ветер голоса делает, лёд трещит. Если ночью одному сидеть, можно и родственников услышать.

Он показал подбородком вниз, на оранжевый брезент под стеной.

— Я вон генератор слышу. Его и слушаю.

Пока Никифоров говорил с районными, я попросила Туйаару рассказать про вчерашнее по порядку. Показания лучше брать сразу, пока человек ещё не пересказал их себе столько раз, что начал верить пересказу.

— Мы брали керн из тёмного слоя, — начала она. — На шестом метре бур провалился. Я записала время: пятнадцать тридцать шесть. Из скважины пошёл тёплый воздух, и сразу стало слышно песню, будто кто-то её включил. Роман решил, что это газ, всех отогнал, померил. Газа не было. Тогда опустили камеру. Остальное вы видели.

— Кто первым увидел тело?

— Я. Я сперва решила, что это кто-то из наших, хотя все стояли рядом. Человек лежит, значит, как-то вошёл. — Она помолчала. — Потом увидела дверь. Человеку я ещё могла придумать объяснение. Двери не смогла.

— Кто спросил «почему»?

Она посмотрела на свои ботинки.

— Я. Я не знала, что это плёнка. Мне показалось, он мне ответил.

Сначала я подошла к краю стены. Роман не пустил меня ближе, чем на пять шагов: по краю шли трещины, в которые можно было просунуть руку, и было понятно, какой кусок упадёт следующим. Снизу поднимался звук, какого я не слышала ни в одном месте на земле, будто в огромной комнате разом капали сотни кранов. Ветер тянул из Прорвы холодом.

Спуск шёл с пологой стороны, в полукилометре от лагеря, и туда вела тропа по склону над рекой. Склон смотрел на юг. Лиственницы на нём кончились, и под ногами была уже не тайга: сухая седая трава по колено, жёсткая, и между ней кустики полыни. Я сорвала веточку и растёрла в пальцах, как растираю всё, что хочу понять по запаху. Пахло горько и сухо, совсем не тайгой.

— Степь, — бросила Туяаара, не оборачиваясь. — Кусок той, что была здесь до леса. По Яне таких осталось несколько склонов, где солнце.

Больше она ничего не добавила, и я вытерла пальцы о куртку.

Вниз вела тропа, натопанная за лето, по глине и вытявшимся корням, по доскам, которые кто-то набросал на самые топкие места. Прорва звучала. Со стены всё время капало, по дну бежали ручьи, и то там, то тут с шорохом сползал вниз кусок грунта величиной с ведро. Один раз сорвался кусок побольше, с мешок, метрах в десяти впереди, и Роман, не глядя, взял меня за рукав и отвёл на шаг в сторону, как отводят ребёнка от лужи. Туяаара объяснила, что к вечеру, когда подморозит, стена затихнет, и ночью здесь слышно, как в ушах шумит собственная кровь.

Пахло сырым погребом, а у стены ещё и старым мясом. Этот запах я знаю по эксгумациям, только здесь он был гуще и холоднее. Из низкой тучи над рекой посыпалась крупа, первая в этом году, и таяла на глине.

Стена поднималась над нами метров на пятьдесят. Она была слоистая, серая, с белыми жилами льда, и из неё торчали корни, кости и ветки, которым было не меньше лет, чем костям. На высоте человеческого роста по стене тянулся тёмный пласт, бурый, почти чёрный, в длинных рыжих волосах, и в одном месте его край выгибался наружу, как бок.

— Это шкура, — пояснила Туяаара. — Мы сначала думали, что какой-то слой торфа. Потом нашли волос.

— Мамонт?

— Видно метров сорок, и это только край. Мамонтов такого размера не бывает.

Голос у неё был спокойный: это она, видно, поняла давно и до сих пор никому не говорила.

Под тёмным пластом, у самого основания стены, был натянут оранжевый брезент, как навес над входом в палатку. Под ним тарахтел генератор, и я перестала его замечать уже через минуту.

— Брезент зачем? — спросила я.

— От солнца. Утром солнце бьёт прямо сюда, в стену. Мясо на свету за день начинает течь, так что всё, что вскрыли, мы закрываем.

Роман с утра расширял скважину пилой. Бензопила с длинной шиной лежала на ящике, а рядом кучкой лежали чёрные обрезки. Он поднял один и дал мне. Снаружи обрезок был чёрный и твёрдый, как резина на морозе, но там, где его держали пальцы, уже краснел и становился мягче, и запах от него пошёл сильнее.

— Под пилой звенит, — отозвался Роман. — Как лёд. Я в шахтах всякое резал, такого не было.

Скважина стала лазом: круглая дыра в тёмном пласте, чуть шире плеч, уходила внутрь с небольшим уклоном вниз. Из неё тянуло теплом, и на холодном воздухе было видно, как у края дрожит воздух.

Прокопий спустился следом за нами долить генератор и остановился посмотреть.

— Бабка говорила, голову зверю не режут, — пробормотал он.

— Это бок, — возразил Роман.

— А я и не говорю, что голова. Я говорю, что бабка говорила. — Он закрутил крышку канистры. — Она ещё говорила, что Прорву начали люди. В шестидесятые тут стояли какие-то, свели лес под стройку, мерзлоту оголили, она и потекла. Вон оттуда всё пошло.

Он показал наверх, на край стены, где висели пьяные лиственницы, и пошёл обратно к тропе.

Роман опустил в лаз газоанализатор на шнуре и долго смотрел на экран.

— Кислорода двадцать и девять, — доложил он. — Сероводорода ноль, метана ноль. Как у нас на улице.

— Это нормально?

— В закрытой полости внутри туши? — Он поднял на меня глаза. — Нет.

Я достала термометр. Снаружи под брезентом было плюс шесть. У самого лаза термометр показал плюс одиннадцать. Солнца под брезентом не было, это дышало оттуда.

План у Никифорова был простой: я осматриваю тело на месте, Роман расширяет лаз, к вечеру тело поднимаем наверх, а с дверью разбираемся, когда я скажу, что можно.

Роман хотел идти первым. Никифоров решил, что первым пойдёт эксперт, потому что там место происшествия, и чем меньше народу пройдёт по нему до осмотра, тем больше оно расскажет. Роман спорить не стал. Он надел на меня обвязку, проверил каждую пряжку, пристегнул верёвку и дал рацию.

— Каждые пятнадцать минут я тебя вызываю, — предупредил он. — Не ответишь, иду за тобой. Это не обсуждается. Колено ставь сюда.левой рукой вот здесь не опирайся, крошится. Метра через два увидишь белую метку, там можно развернуться.

На доске, прибитой к ящику у брезента, он написал маркером: «17.09. 13:40. Винокурова. Вход в полость». Каждый спуск он записывает на эту доску. Я спросила, чьё это правило.

— Моё. В четырнадцатом году у нас в шахте двое остались, потому что никто толком не знал, кто куда пошёл. С тех пор пишу.

Туйаара протянула мне свой запасной ручной фонарь. На корпусе маркером было написано «Т. К.».

— Верну, — пообещала я.

— Не спешите. Я серьёзно. Вчера мы торопились увидеть.

— И?

Она отвела глаза.

— Увидели.

Ладони в перчатках у меня вспотели. Объяснять себе, почему, я не стала. Я надела налобный фонарь, встала на колени и полезла.

Лаз шёл вниз и был тёплый, как нора. Стенки под перчатками были мягче, чем снаружи, и чуть подавались. Генератор за спиной тарахтел всё глуше, его звук отставал от меня, как отстаёт собака, которой не велели идти дальше. Белая метка оказалась куском изоляции на стенке, и возле неё я смогла встать на колени. Когда генератор почти пропал, впереди стал слышен другой звук, мелкое частое тиканье, как у будильника под подушкой. Я включила диктофон, не сразу поняв зачем: мне хотелось, чтобы этот звук остался записан. Часы с видео шли, и теперь я их слышала.

Ещё через метр лаз расширился, и изменился воздух.

Я знаю, как пахнет в квартире, где человек умер вчера. Тёплый стоячий воздух и сладковатый оттенок, который ещё не стал запахом, а только собирается им стать. Здесь пахло так.

Потом лаз кончился. Я спустила ноги в пустоту, нащупала опору и встала на доски.

Глава 3

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.